

Такой подход к Достоевскому имеет и свои тёмные стороны. Увлечённый драматизмом и динамикой необычной жизни ~~этой~~ знаменитого писателя, автор ~~несколько сужает~~ подчиняет биографическому принципу круг захватываемых им проблем*. Идеи и образы Достоевского прямо выводятся из фактов его биографии. Значение мировоззрения писателя, его социальных и политических симпатий молчаливо признаётся второстепенным. На первый план выступают «алогичность» и «тайна», «метафизическая тоска» и «универсальные проблемы»**.

Хотя историческим событиям России XIX века посвящено несколько ярких страниц, где затронута даже статистика крестьянских восстаний накануне реформы, в целом жизненный путь Достоевского в изображении Труайя мало связан с эпохой: чуждые и враждебные силы истории как бы извне врываются в жизнь Достоевского, чтобы втянуть его в заговор петрашевцев, (~~освящённый, впрочем, довольно юмористически~~), подвергнуть чудовищному испытанию, а затем вновь отвязаться ~~от него и~~ предоставить его изолированному внутреннему развитию. Возникает упрощённо-прямая связь между личностью (или, по терминологии Труайя, существованием, l'existence) и творчеством. При этом личность трактуется биологически. Легче всего проиллюстрировать это классическим примером.

Речь идёт об убийстве Михаила Андреевича Достоевского. «В тот самый момент, — пишет Труайя, — когда старый Достоевский, искалеченный, ~~е-искалеченным~~ телом,*** с расширившимся от ужаса глазами, испускал последний вздох, его сын бунтовал против него, упрекая отца в старческом эгоизме. Преступление мужиков пало на Фёдора Михайловича». «Он был виновен за пределами человеческих законов. Это открытие ослепило его с жестокостью очевидности. Страшный толчок потряс его, скорчил, бросил наземь, хрипящего и с пеной у рта. Его первый припадок эпилепсии? Может быть. Во всяком случае, он никогда не заговорит об этом событии в своей переписке.

Но потрясение было слишком сильным, чтобы мгновенно не наложить на него отпечатка. Именно в книгах Достоевского нужно искать признания его морального смятения. И прежде всего в «Братьях Карамазовых»².

В главе, посвящённой этому роману, содержатся такие утверждения: «Этот старик [Фёдор Карамазов]... выглядит подмалёванным чёрной краской портретом отца Достоевского»³. «Иван Карамазов — это Достоевский, которого “Бог мучил всю жизнь”»⁴

* Правка синими чернилами. Возможно, не почерком Назирова.

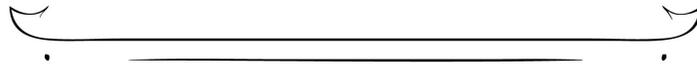
* * В черновике следующий абзац начинается с фразы: «Таким образом, биографический метод Труайя мало-помалу становится чистой формальностью».

** Правка синими чернилами. Возможно, не почерком Назирова.

² Н. Troyat. «Dostoïevsky», P., Fayard, 1960.

³ Там же, стр. 391.

⁴ Там же, стр. 394.



Эта точка зрения прямо восходит к воспоминаниям Л. Ф. Достоевской, оказавшим на Труайя первостепенное влияние: «Достоевский, создавая тип старика Карамазова, думал о своём отце...» «Согласно передававшимся в семье рассказам, мой отец изобразил себя в Иване Карамазове». Она же сообщает «семейное предание», что с Достоевским при известии о смерти отца произошёл первый припадок эпилепсии⁵. Однако Труайя выражается прямее: «Он был виновен за пределами человеческих законов», «ответственность за этой убийство» и т. д. Иными словами, Достоевский прожил всю жизнь под гнётом чувства вины, в «Братьях Карамазовых» им выражено сознание вины за тайную жажду отцеубийства, а эпилепсия писателя — это форма самонаказания. Как известно, таковы тезисы, выдвинутые Зигмундом Фрейдом в его статье «Достоевский и отцеубийство». (?)

Труайя написал биографию Достоевского накануне смерти Фрейда. Но вот эссе «Святая Русь» относится уже к 1956 году. В нём, как и в биографии, нет упоминаний о Фрейде и его теориях. Но заключение очерка в этой книге звучит несколько откровеннее*: «Творчество Достоевского — попытка заклинания дурных инстинктов, которые носил в себе автор...» «Обвиняя себя посредством своих персонажей, Достоевский облегчает и очищает себя. Он отделяется от своих пороков, называя их»⁶. На хорошем, честном психоаналитическом языке это называется сублимированием подавленных инстинктов. ~~Надо полагать, некая анонимная тень со скромным удовлетворением следила через плечо Анри Труайя за движением его пера: она Анри Труайя изобразил Достоевского носителем острых внутренних конфликтов, возникших на почве комплекса Эдипа.~~

Стыдливый фрейдизм академика Труайя обнаруживает себя ~~приподнимает своё покрывало~~ ещё раз: при решении «сексуальной проблемы Достоевского». Десятки лет западных исследователей Достоевского, как больной зуб, мучит «проклятый вопрос»: виновен ли сам Достоевский в том преступлении, в котором исповедуется Ставрогин? Доминика Арбан, например, со всею фрейдистской неподкупностью выносит вердикт: «да, виновен»*. Анри Труайя говорит: «Документы совершенно не дают оснований сделать какой-либо вывод из этого спора, но эротическая одержимость Достоевского делает позволительными все подозрения»^{7**}. И вот мы видим, как один из «бессмерт-

⁵ «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской», М.—Пг., 1922, стр. 17—18.

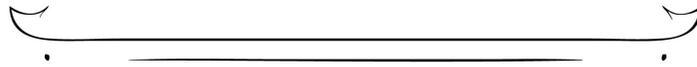
* В черновике добавление: «... в 1956 году Анри Труайя выражается ещё прямее и определённое. Любопытно отметить одно маленькое исправление. В биографии 1940 года (равно, как и в её последующих переизданиях) о героях Достоевского говорится: “Они выставляют на дневной свет то, что мы закапываем в потёмках наших совестей (*nos consciences*)” [H. Troyat. «Dostoïevsky», P., Fayard, 1960]. В очерке 1956 года та же фраза звучит чуть-чуть иначе: “Они выставляют на дневной свет то, что мы закапываем в потёмках *бессознательного* (*l'inconscience*)”». [H. Troyat. «Sainte Russie. Souvenirs et réflexions», P., Grasset, 1956, p. 146. Разрядка Назирова].

⁶ H. Troyat. «Dostoïevsky», P., Fayard, 1960, p. 52.

* В черновике дается следующая ссылка: «Dominique Arban, «Дост. и “Бесы”», газета Monde???

⁷ H. Troyat. «Dostoïevsky», P., Fayard, 1960, стр. 352.

* * В черновике: «И тон, и смысл его высказываний гораздо умереннее: “Почему бы не предположить, что Достоевский желал ребёнка и что этого единственного воображаемого оскорбления хва-



ных» Франции, декларируя свою любовь к Достоевскому, покидает берег исторических фактов и пускается крейсировать по мутным волнам легенды. Он предполагает, что Достоевский испытывал острое влечение к малолетней девочке и «с болезненным наслаждением» давал выход этому влечению в устных рассказах и в аналогичных ситуациях своих романов (катартическое лечение в полном соответствии с Фрейдом).

Итак, романтически волнующая личность писателя сводится к комплексу виновности, порождённому жаждой отцеубийства, к «сексуальной одержимости» и к раздвоению личности.

Ибо Раздвоение личности самого Достоевского играет особую роль в концепции Труайя. «Он не сумел реализовать себя ни в Ставрогине, “демон”, ни в Мышкине, “святом”, потому что он был тем и другим одновременно... Он колеблется между плотским миром сладострастия и духовным миром отречения». «Достоевский раздваивается, как его герои»^{8***}. Так оживает в книге Труайя старая формула флистеров: «полузверь, полуангел», которую в своё время подверг остроумной критике Фридрих Энгельс. Так противоречия творчества Достоевского выводятся прямо из недр его разорванной психики. Сложность мировоззрения и опыта писателя, противоречия между его философией и практикой (достаточно вспомнить известный разговор с Сувориным о невозможности политического доноса) Анри Труайя отбрасывает изящным жестом: «Он — воплощённое отрицание “выбора”. После этого не нужно удивляться, что этот христианский пацифист проповедует войну на Востоке, что этот эпилептический визионер переполняет свои книги реалистическими деталями»^{9*}.

По мысли Труайя, бог и эпилепсия составляют основу той части психики Достоевского, которая влечёт его за пределы разума, в необозримые просторы непознаваемого. «Плотскую» часть этой личности Труайя нам уже объяснил: это Эдипов комплекс и сексуальная аномалия. Теперь коснёмся «духовной» части. В «Бедных людях» критик слышит «колеблющиеся аккорды» и героев, «ограниченных в самих себе». Их страдания — моральные, социальные, материальные, земные. «Они не знают метафизической тоски». «Один персонаж отсутствует в составе исполнителей:

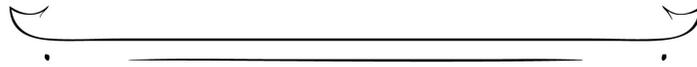
тило, чтобы отравить его жизнь? Это насилие, которое он мог бы совершить, — он вызывает в грандиозной галлюцинации. Он взваливает его на себя, он обвиняет себя в нём с каким-то болезненным наслаждением. Он смакует радость циничного самоунижения...» [Н. Troyat, «Dost.», P., Fayard, 1960, p. 353].

⁸ Там же, стр. 438.

^{*} ** В черновике: «Вслед за Андре Жидом, Труайя цитирует Бодлера: “В каждом человеке есть». Фраза не завершена; видимо, подразумевается следующая цитата: «В любом человеке в любой час есть две одновременные просьбы — одна к Богу, другая к Сатане. Мольба к Богу, или духовность, — это желание возвыситься; та, что к Сатане, или животное начало, — это радость от спуска». Здесь приводится по следующему изданию: Бодлер Ш. Мое обнаженное сердце. Статьи, эссе. СПб., 2014. С. 14. Назиров, возможно, по памяти опирается на французский текст.

⁹ Там же.

^{*} Заметка на полях в черновике: «Достоевский тоже порой выносил приговоры, не подлежащие обжалованию: таков конец Ставрогина, который был ни холоден, ни горяч... Свидригайлова... И т. д. Как же «никто не виноват»? И князя Валковского считать не виноватым? Автор думал иначе, хотя и не наказал злодея».



Бог. Нужно будет испытание эшафотом и Сибирью, чтобы он возник на заднем плане мира Достоевского»¹⁰. Следует описание весьма «случайного» участия Достоевского в заговоре петрашевцев, затем — катастрофа. Глава «Эшафот» впечатляет своим безупречным мастерством, ярким и точным изложением фактов. В целом хороши и главы, посвящённые каторге Достоевского. По словам Труайя, его герой совершил в стенах Омского острога «тройное открытие»: он открыл народ, Россию и евангелие. Последнее определило всю его дальнейшую жизнь и творчество.

По мысли Труайя, религия Достоевского не соответствует официальной доктрине церкви. Спокойной, гарантированной веры не существует: нужно всегда защищать веру от врага — от себя самого. «Угроза придаёт цену угрожаемому объекту. Вера — это риск». Достоевский «хочет бороться один», «сам найти свою дорогу». Анализируя роман «Бесы», Труайя говорит: «Достоевский, как Шатов идёт к богу через народ. Но тогда как для Достоевского народ был только этапом, для Шатова народ был целью»¹¹. Проблема бога выдвигается на первый план, а народ, к которому в конечном счете были обращены все мысли и чаяния Достоевского, народ, который он понимал как огромную, высшую силу, как последнюю инстанцию идейных споров, как единственного вершителя судеб мир, — этот народ превращается в «этап» мистической эволюции.

Своим видением мира Достоевский обязан чудесному озарению той «ауры», которая предшествует его эпилептическим припадкам. «Может быть, Достоевскому было дано во время его эпилептических припадков взобраться до гребня стены и обнять взглядом запретный простор. Он падает обратно, ослеплённый, в сердце сожаление об этом чудесном видении. Но он видел, он видел!... Он один из единственных, которые видели»^{12*}. Итак, для академика Труайя галлюцинации, болезненные видения, озарения эпилептических припадков — источник высшего познания, откровение потусторонней истины, недоступной бедному научному познанию. Отсюда — весь Достоевский, разрываемый «между естественной и сверхъестественной концепцией мира». «Он не выбирает между миром причинности и миром “дважды два — три”. Он уравнивает более или менее удачно две архитектуры». С болезненным усердием он силится воплотить экстравагантную историю в плотной массе действительности. Вокруг кошмара он аккумулирует материальные детали, от которых не отказался бы Флобер»¹³. Но для автора само собой разумеется, что все усилия Достоевского тщетны. В реалистической «декорации» всё звучит фальшиво; его герои — «это идеи, которые движутся в рамках материи»¹⁴. Это утверждение повторяется на протяжении

¹⁰ Там же, стр. 69.

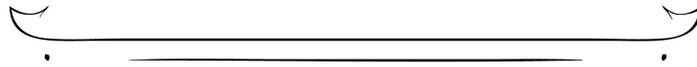
¹¹ Там же, стр. 346.

¹² Там же, стр. 247.

* Над словом «единственных» вписано «немногих».

¹³ Стр. 247.

¹⁴ Стр. 248.



всей книги. Каждый персонаж — «идея, только идея»¹⁵. У них нет тела, они лишь «носители наших собственных мыслей, наши мысли». Мир Достоевского автор называет «декорацией сновидения». «Это не реалистическая живопись, это кошмарное видение»¹⁶.

Итак, для Труайя великий писатель оказывается прежде всего религиозным мыслителем, мистически озарённым поэтом кошмарного сна, в котором воплощена высшая «вторичная реальность», превосходящая наше жалкое, познаваемое, земное существование бытие. Элементы иррационализма в творчестве Достоевского под пером Труайя превращаются в один исполинский кошмар, в «хаос мрака и нечисти», и даже остро-экспрессивные реалистические детали Достоевского «поражают как знаки сверхъестественного садизма», «имеют таинственный смысл». Достоевского — реалиста больше не существует! И если он сам считал своё искусство реализмом, то он, очевидно, плохо понимал самого себя*.

Несомненно, Достоевский в известном смысле противоположен Гончарову или Тургеневу. Его «реализм исключительного» занимает особое место в истории русской классической литературы. Подобно тому, как искусство Микеланджело — высочайшая вершина, склоны которой усеяны костями маньеристов, так и эпигоны Достоевского превратили его гения подчас гениальные прозрения глубин человеческой души в дешёвый «гран-гиньоль» картонных ужасов, а его мучительные, до гроба не прерываемые непрерывные* поиски решения сложных философских и моральных проблем — в своего рода литературный спиритизм, глубокомысленное столоверчение. И в своей оценке искусства Достоевского академик Анри Труайя сближается с точкой зрения декадентских осквернителей могил, не умевших и не желавших учиться у гениального писателя его главной тайне — золотой пропорции, в которой сила творческого воздействия на окружающий мир сплавлялась с великой правдой об этом мире, — мире реальном, земном, совершенно материальном, ибо никакие призраки и кошмары не могут причинить такого страдания человеческой душе, как оскорбление золотом, человека человеком, оскорбление человека неправедным обществом.

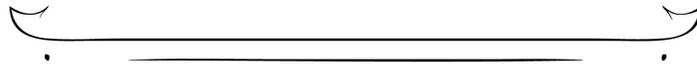
Для Достоевского проблема бога — это проблема бунта. Аргументация Ивана Карамазова, «почтительнейше возвращающего» богу свой билет на вход «в высшую гармонию», остаётся художественно неопровержимой. Анри Труайя считает «очень вероятным», что Иван Карамазов играет в глазах Достоевского ту же роль, какую Смердяков — в глазах Ивана. «Иван для Фёдора Михайловича есть воплощение той

¹⁵ Стр. 338.

¹⁶ Стр. 271.

* В черновике: «Анри Труайя, родившийся в Москве, детально изучавший Россию XIX века, словно бы и не знает о том, что действительно существовали в ней когда-то «секуны», «серальники», тираны и титулованные «заплечных дел мастера», все эти Каменские и Салтычихи, которые травили детей борзыми, превращали в наложниц своих крепостных актрис и насиловали малолетних девочек. Для Труайя и преступление Свидригайлова, и исповедь Ставрогина — ~~просто-напросто~~ всего лишь сублимация, «подавленного влечения» самого Достоевского...»

* Правка, возможно, не почерком Назирова.



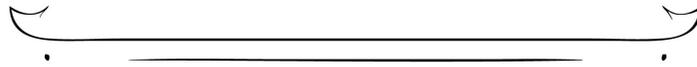
части самого себя, которая ему ненавистна. Иван — это то, в чём автор хотел отказать себе самому; Иван — это главное наказание его автора»¹⁷. (По мысли Труайя, двойники в романах Достоевского — инструменты самонаказания героев, чья преступная психика их породила). Один из самых сильных и художественно убедительных образов великого романиста объявляется результатом его внутриспсихического конфликта, воплощением собственных ненавистных мыслей, от которых Достоевский «избавлялся, называя их». Но если идти таким путём, то мнимые любимцы Достоевского — Иван Петрович в «Униженных и оскорблённых», Соня Мармеладова, князь Мышкин, Макар Долгорукий, старец отец Зосима, Алёша и другие — составят монотонную картину, бледнеющую перед другой половиной его героев. В том-то и дело, что Достоевский любил все свои создания, за исключением презренных Лужиных и Тоцких, а бунтарей своих, грешников, мучеников сомнения он любил, быть может, ещё горячее, ещё неистовее, ещё безрассуднее, чем смиренных, осенённых благодатью. В том-то и дело, что Достоевский — не «воплощённое отрицание “выбора”», а воплощённое искание, мучительное блуждание в поисках этого выбора, воплощённый разрыв, возвращение и переоценка.

Кстати, о Лужине. Случайно ли Анри Труайя вешает его портрет в галерее страдальцев? Что это, *lapsus calami*: «Мармеладов, Соня, Дуня, Свидригайлов, Лужин, все каналы, все циники, все несчастные, которые обрамляют крупную фигуру Раскольниковова, несут в себе своё оправдание. Они знают о своём падении»¹⁸. В чём падение Дуни, сестры Раскольниковова? И что может оправдать Лужина? Нет, это диковинное упрощение явно расходится с фактами творчества Достоевского, в зоологическом атласе которого нет животного отвратительнее, чем самодовольный и сытый буржуа, будь то лощёный французский псевдо-маркиз или свой отечественный надворный советник. Пусть это мелочь, но как же забыть, что подпольный человек Достоевского («ключ ко всему его творчеству», по словам автора) отрицает не только Хрустальный дворец социалистов, но и капитальный дом «благоустроенного» буржуазного общества с квартирами для бедных жильцов и с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске? Однако Труайя забывает об этом. Если же забыть прямо-таки невозможно, то он отделяется снисходительной, извиняющей усмешкой, с какою он, например, перелистывает «Зимние заметки о летних впечатлениях», в частности, «Опыт о буржуа».

Да, проще всего исключить из памяти всё, что остаётся подлинно большим и животрепещущим в творчестве Достоевского, равно как и в мире, перенести проблему зла в плоскость исключительно метафизическую, ~~забросить подальше~~ отодвинуть реализм Достоевского на второй план и затем с чистой совестью принять «бесконечное беспокойство» великого романиста. «Достоевский ввёл понятие неразрешимости в

¹⁷ Стр. 395.

¹⁸ Стр. 270.



романную метафизику». «Не останавливаться — в этом твоё величие», — писал Гёте. Достоевский велик, потому что он не остановился»¹⁹, — так заканчивается книга Труайя. Не остановился, не принял окончательного решения? Он велик во-первых тем, что не принял ложного решения, к которому склонялся в силу обстоятельств. А ещё более велик Достоевский тем, что, изнемогая и почти падая в борьбе с собственной слабостью, он всё же явил пример огромной неукротимости и поиска, который наряду с его свидетельством о мире драгоценен для нас, его потомков, вечных искателей правильного решения вопросов, возобновляемых перед каждым из нас историей.



¹⁹ Стр. 439.